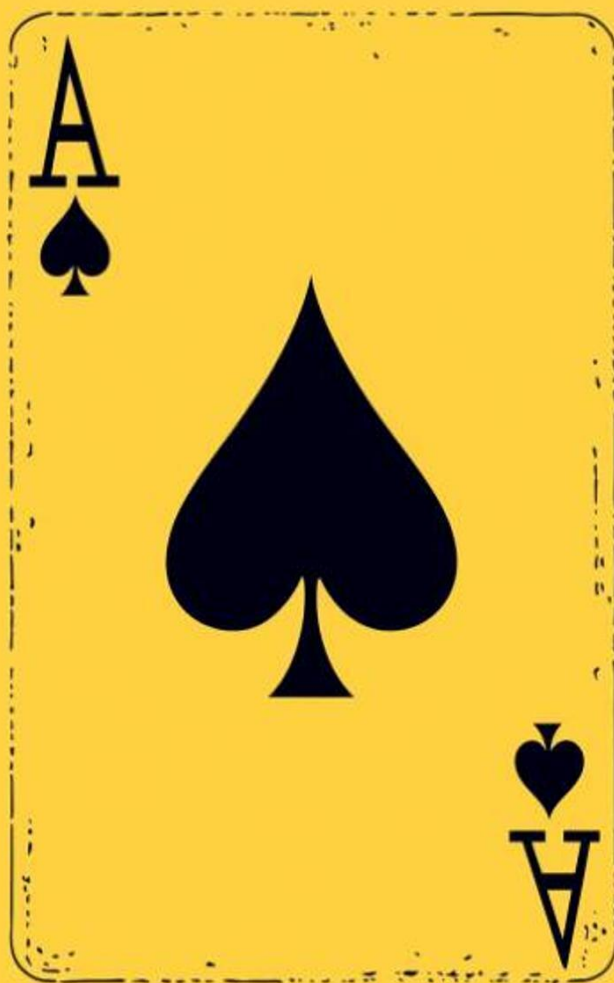


Александр Восьмой



Книга 5. «Часовой Механизм Сиринити»

Александр Восьмой

**Книга 5. «Часовой
Механизм Сиринити»**

«Автор»

2026

Восьмой А.

Книга 5. «Часовой Механизм Сиринити» / А. Восьмой —
«Автор», 2026

Сиринити молчала с самого начала. Но молчание бывает громче крика. Когда городские часы начинают идти вспять и ночь длится трое суток, Сиринити наконец говорит: она знает, что такое Разлом. Потому что она его уже видела. Во сне. Каждую ночь. С тех пор, как умерла. Оптима и Даффи в ужасе отшатываются — но Фаргус, всё ещё живой, всё ещё без тени, кивает. Он тоже знал. Вся книга — медленное раскрытие того, что Сиринити — не жертва, не проводник, не предатель. Она — часовой механизм, заложенный в Разлом тем, кто его создал. И она тикает.

Александр Восьмой

Книга 5. «Часовой Механизм Сиринити»

Глава 1. Часы, которые не должны были остановиться

Город Эннмаут застыл между закатом и ночью — словно кто-то дёрнул невидимый рычаг и остановил мир на полувздохе. Пустоши вокруг дышали тишиной, слишком густой, чтобы быть обычной. В центре города, над серыми крышами, тянулась к небу башня с курантами — древняя, будто вырезанная из самого времени. Говорили, что она старше улиц, старше памяти стариков, старше самой легенды о городе.

Мужик Оптима стоял у края площади, сжимая в пальцах рукоять топора так, что побелели костяшки. Он привык доверять своим рукам и глазам, а глаза сейчас говорили ему то, чего не могло быть: стрелки на циферблате замерли ровно на без четверти полночь. Ни дрожи, ни намёка на движение — будто время решило взять паузу и больше не собиралось её заканчивать.

В таверне «Соломенный мост» его спутники сидели за грубым столом, и каждый прятал тревогу по-своему. Парень Фаргус, долговязый и вечно чуть бледный, смотрел в кружку, будто надеялся прочесть в тёмной жидкости ответы. Прима, девочка с двумя тугими косами, водила пальцем по трещинам столешницы — её звериное чутьё на ложь сейчас зудело, как заноза: что-то было не так, и это «что-то» подбиралось ближе. Рядом, не переставая жевать, отсчитывал секунды Даффи Толстяк: он всегда ел, когда мир начинал шататься. Окси сидела у окна, пальцы её подрагивали, готовые сорваться в движение — она привыкла бежать вперёд, а сейчас бежать было некуда. И Сиринити — та, что молчала всегда. Её молчание сегодня было не просто тишиной: оно было плотным, тяжёлым, словно в нём пряталась целая буря.

Фаргус поднял глаза и едва заметно качнул головой — не спрашивай, не сейчас. Даффи уронил хлебную крошку, и она упала с оглушительным стуком, будто камень.

И тут куранты заговорили.

Они прозвенели тринадцать раз — ровно тринадцать, хотя в любом нормальном мире их должно было быть двенадцать. Звук шёл не сверху, а будто изнутри земли, из трещин мостовой, из воздуха, который вдруг стал вязким. На последнем ударе старик Архон, городской часовщик, рухнул на ступени башни, не успев дотянуть руку к рычагу. Его глаза были открыты, но в них уже не было ни времени, ни города — только пустота, в которую проваливается всё, что перестаёт существовать.

Прима вскочила, стул грохнул о пол. Окси метнулась к двери, но замерла на пороге — улицы за ней уже не выглядели как прежде: тени домов легли под неправильным углом, будто город слегка повернулся вокруг невидимой оси. Оптима шагнул к выходу, топор в его руке теперь казался не инструментом, а обещанием. Даффи наконец перестал жевать и уставился на свои ладони, словно они могли подсказать, что делать дальше.

А Сиринити подняла голову. Её губы дрогнули, будто она впервые за долгое время вспомнила, как говорить. И прошептала так тихо, что слышали только те, кто стоял ближе:

— Разлом проснулся.

Никто не спросил, что это значит. Потому что в тот миг, когда куранты пробили тринадцатый раз, каждый из них уже почувствовал: время больше не принадлежит им. Оно стало врагом, который тихо щёлкнул замком и оставил их по ту сторону нормальной жизни.

Глава 2. Ночь, которая не кончается

Рассвет не пришёл. И не собирался приходить.

Небо над Эннмаутом застыло в тяжёлом, свинцовом оттенке — будто кто-то натянул над городом плотную ткань, не пропускающую свет. Фонари у мостовой горели, потрескивая, и

пламя в них не гасло, хотя масло должно было закончиться ещё на рассвете. Оно не заканчивалось — как и сама ночь, растянувшаяся в бесконечность.

Прима стояла у приоткрытой двери, вслушиваясь в тишину, которая была не пустой, а густой, наполненной чем-то невидимым. Её звериное чутьё на ложь и опасность зудело под кожей: она чувствовала, как что-то прошло по улице на четырёх лапах, скользнуло мимо, не оставив ни следа, ни запаха. Только лёгкое шевеление воздуха, будто тень пробежала по стене и растворилась.

Оптима обошёл периметр города, проверяя тропы, по которым раньше уходил в лес. Дорога на восток обрывалась плотным, молочно-белым туманом — таким густым, что в него можно было врезаться, как в стену. Из этой белёсой завесы не доносилось ни крика, ни шороха, ни даже эха собственных шагов. Звуки тонули в нём, как камни в трясине. Оптима провёл ладонью по рукояти топора и нахмурился: тишина была неестественной, почти злой.

В башне, у окна, застыл Фаргус. Его долговязую фигуру обволакивал полумрак, а лицо казалось выбеленным лунным светом — только вот луна не двигалась. Она висела в небе, как приклеенная, не меняя положения ни на йоту, будто её закрепили гвоздями. Фаргус смотрел на неё, и в его глазах читалось не удивление, а признание: он знал, что так не бывает. Он знал слишком многое, чтобы удивляться.

Даффи Толстяк пытался шутить, чтобы разогнать липкий страх, но голос срывался на полуслове, превращаясь в хриплый шёпот. Он сжимал в руках кусок хлеба, но не ел — только мял, пока корочка не раскрошилась в пыль.

Окси металась от окна к двери и обратно, будто искала выход, которого не было. Её пальцы подрагивали, готовые сорваться в движение, но бежать было некуда: город сжался до нескольких улиц, а за их пределами лежала пустота, притворявшаяся туманом.

А Сиринити подошла к циферблату и положила ладонь на стекло. Стрелки дрогнули, будто от её прикосновения по ним пробежал электрический разряд. Они не сдвинулись с места, но задрожали мелкой, нервной дрожью — как струны, натянутые до предела.

Никто этого не заметил. Кроме Фаргуса.

Он обернулся, и лицо его стало ещё бледнее, чем обычно. В его взгляде мелькнуло то, что он так старательно прятал: знание, от которого хотелось закричать. Он видел, как дрожат стрелки. Видел, как под ладонью Сиринити стекло едва заметно вибрирует, будто внутри часов бьётся чужое сердце.

Сиринити не отняла руку. Она стояла неподвижно, и её молчание сейчас было не отсутствием слов — оно было обещанием. Обещанием, что скоро тишина закончится, и на смену ей придёт что-то гораздо страшнее.

И в тот момент, когда стрелки дрогнули в третий раз, из глубины башни донёсся тихий, едва уловимый звук — не скрип, не треск, а будто кто-то глубоко вздохнул внутри механизма.

Фаргус сжал кулаки. Оптима замер у двери, прислушиваясь. Прима втянула воздух, пытаясь уловить запах опасности. Даффи уронил крошки хлеба, и они рассыпались по полу, как мелкие звёзды. Окси застыла, не зная, бежать или прятаться.

А часы продолжали дрожать. И тишина становилась всё тяжелее, словно город медленно оседал под её весом.

Глава 3. Тень Фаргуса

Закатного света в Эннмауте не было — но что-то похожее на него всё-таки существовало: тусклая рыжая полоса, выдавленная из неба, словно последний отблеск угасшего пожара. Оптима стоял на площади, шурился и вдруг замер.

Под Даффи ложилась длинная, неуклюжая тень — продолговатая, слегка колыхающаяся от того, что Даффи не мог устоять на месте. Под Примой тень дёргалась, словно живая, дёрган-

ная, нервная — как и сама девочка, чувствовавшая мир кожей. Под Окси тень лежала чёткая и подвижная, готовая сорваться в бег. А под Фаргусом — чистый камень.

Оптиме моргнуло. Потёр глаза. Усталость, подумал он. Мерещится. Потом сделал шаг в сторону, сместив угол зрения. Тень Даффи сдвинулась следом. Тень Примы изогнулась. Тень Окси легла иначе. А под Фаргусом по-прежнему не было ничего, кроме серых плит мостовой, подметённых ветром.

— Фаргус, — сказал Оптиме негромко, но так, что все обернулись. — Стой.

Фаргус остановился. Он не обернулся. Он знал.

Оптиме подошёл, схватил его за грудки, вздёнул к себе — руки, привыкшие таскать брёвна, сделали это без усилия. Фаргус не сопротивлялся. Его тело было лёгким, почти невесомым, будто набитым сухими листьями, и от него пахло не живым человеком, а старой бумагой и холодным воздухом.

— Что с тобой, — Оптиме не спрашивал. Он требовал.

Фаргус поднял на него свои бледные, выцветшие глаза. Лицо его было спокойным, но не мирным — скорее тем спокойствием, что наступает, когда человек уже всё решил и просто ждёт, пока мир догонит.

— Я умер три года назад, — сказал он тихо. — Но меня не отпустили.

Слова упали в тишину таверны, как камень в колодец. Прима сидела неподвижно, не дыша, ловя каждое слово тем самым чутьём, что отличало правду от лжи. Она ждала фальши, напряжённого мускула обмана.

Его не было.

Фаргус не лгал. Прима почувствовала это всей кожей, всеми волосками на загривке, которые встали дыбом. В его голосе не было ни выдумки, ни уловки, ни попытки приукрасить или смягчить. Только голый, холодный факт, озвученный так спокойно, будто он говорил о погоде.

Даффи выронил кружку. Она ударилась о пол, расплескала тёмное пиво, и лужица поползла по камню, извиваясь, как тонкая змея. Даффи смотрел на неё, будто на единственное, что имело смысл в этом мире.

Окси вжалась спиной в стену. Она, которая всегда бежала вперёд, сейчас застыла, пойманная между инстинктом и невозможностью бежать от того, что находится рядом.

А Сиринити смотрела на Фаргуса.

Она смотрела так, будто они давно знакомы. Не так смотрят на чужака или незнакомца — так смотрят на того, кого знали в другой жизни, в другом теле, в другом времени. Взгляд её был не удивлённым и не испуганным. Он был узнаванием. Тихим, тяжёлым, как будто она нашла кусок мозаики, который искала очень, очень долго.

И — впервые за всё время, что они были вместе, — её губы шевельнулись.

Беззвучно. Один слог, короткое движение рта, почти невидимое. Она произнесла что-то, что не долетело ни до чьих ушей. Одно слово, которое повисло в воздухе, как недозвоневший колокол, и растворилось в тишине.

Никто не разобрал. Но Фаргус, всё ещё зажатый в кулаках Оптимы, побледнел ещё сильнее. Его и так бледное лицо стало цвета мокрого мела, а на скулах проступили тёмные тени, которых раньше не было. Он увидел, как шевелятся её губы. Он услышал то, чего не услышал никто.

И в его глазах мелькнуло нечто, чего раньше не было: страх. Настоящий, не прикрытый спокойствием, не спрятанный за бледностью. Чистый, голый ужас живого мертвеца, который понял, что его тайна больше не принадлежит ему.

Оптиме разжал пальцы. Фаргус осел, словно из него вытащили стержень. Прима сидела неподвижно, прижав ладонь к груди, чувствуя, как сердце колотится, как у загнанного зверя. Даффи обнимал пустую кружку. Окси смотрела то на Фаргуса, то на Сиринити, и в её взгляде пульсировало понимание: всё меняется. Прямо сейчас. Бесповоротно.

А Сиринити снова молчала. Как будто и не раскрывала рта. Как будто это мгновение — шорох губ, невидимое слово, тяжёлый взгляд, — никогда не случалось.

Но случилось. И Фаргус это знал. И часы в башне, дремавшие после тринадцатого удара, вдруг тихо, едва слышно щёлкнули.

Один раз. Как будто отсчитали что-то. Как будто начали обратный отсчёт.

Глава 4. Разлом за зеркалом

В подвал башни вела лестница, которую никто не знал. За стенкой в келье Архона — не за дверью, а за потайной панелью, заделанной той же штукатуркой, что и остальная кладка, — обнаружились каменные ступени, стёртые посередине до блеска. Архон спускался сюда часто. Часто и один.

Оптим шёл первым, свеча в его руке дрожала — не от сквозняка, а от того, что воздух здесь был плотнее, тяжелее, будто пропитанный старым страхом. Ступени уходили вниз, делая ровно тринадцать поворотов, и на каждом повороте стены сужались на толщину ладони, пока не стали такими узкими, что Даффи застрял бы, если бы не втянул живот.

Внизу — круглая комната, каменная, холодная, пахнущая мокрым железом и временем. И карта.

Карта висела на дальней стене, прикреплённая медными гвоздями к камню. Не карта Эннмаута — карта того, что было под ним. Слои, уложенные друг на друга, как страницы в книге, как пласты в разрезе земли. Каждый слой — ещё одна версия города: улицы, переулки, площадь, башня. И в центре каждого слоя — циферблат. На верхних слоях часы целы. Ниже — побольше трещина. Ещё ниже — побольше. На самом глубоком, едва различимом, почти утонувшем во тьме, циферблат разорван надвое.

Трещина одна на всех. Одна и та же линия, проходящая через каждый слой, сверху донизу, словно кто-то взял нож и разрезал реальность одним движением.

Фаргус подошёл ближе. Его лицо, и без того бледное, стало прозрачным, как пергамент на свету. Он всмотрелся в рисунок трещины, и пальцы его задрожали.

— Это Разлом, — сказал он. Голос его был ровным, но пустым, как голос человека, рассказывающего о том, что уже не может причинить боль, потому что всё, что мог, уже причинил. — Я видел его. Когда уходил. Туда проваливаются те, кто не успел.

— Не успел что? — окликнула Прима.

— Не успел остаться, — ответил Фаргус и не добавил ничего.

Прима подошла к карте и протянула руку. Пальцы её, маленькие, с обломанными ногтями, коснулись бумаги — и она отёрнула ладонь, вскрикнув. Из линий чертежа, из тонких штрихов, обозначавших улицы и стены, проступила тёмная жидкость. Не краска, не чернила. Густая, тёплая, с запахом, который Прима узнала мгновенно, потому что звериное чутьё не ошибается в запахе крови.

Карта кровоточила. Тёмные капли ползли по бумаге, собирались в бороздах линий, стекали по медным гвоздям на каменный пол. Кап. Кап. Кап.

Даффи метнулся к лестнице и запер дверь — тяжёлую, дубовую, с засовом, который скрипел, как старая кость. Он навалился на засов всем телом, будто за дверью уже кто-то стоял и рвался внутрь. За дверью было тихо. От этой тишины стало хуже.

Окси стояла у стены, прижав ладонь к холодному камню, и смотрела на карту так, будто видела в ней не рисунок, а окно. Её глаза металась от слоя к слою, сверху вниз, и в них читалось то, что она не могла произнести вслух: слои двигались. Едва заметно, на дрожь, на полсекунды — верхние дышали, нижние пульсировали, а трещина на самом дне ширилась и сжималась, словно дышала, словно была живой.

И тут все услышали шаги на лестнице.

Лёгкие. Ровные. Беззвучные почти, если бы не камень под ногами, который отзывался на каждый шаг тихим звоном, как будто ступени были сделаны не из гранита, а из стекла.

Сиринити спустилась последней.

Она вошла, и подвал стал меньше. Не физически — воздух стал гуще, стены сдвинулись, потолок опустился на полдюйма, и пламя свечи в руке Оптимы прижалось к фитилю, будто пытаясь спрятаться.

И тогда увидели все.

Свеча горела. Пламя дрожало, отбрасывая свет на лица, на стены, на карту. Тень Оптимы легла на камень, чёткая, тяжёлая. Тень Примы изогнулась, будто пытаясь отползти от хозяйки. Тень Даффи навалилась на дверь. Тень Окси метнулась к стене. У Фаргуса тени не было — это знали уже все.

Но Сиринити — Сиринити была иным.

Пламя горело перед ней. Свет падал на её лицо, на её руки, на тёмные волосы, и нигде, ни в одном глазу, ни на одном суставе, ни на одном мгновении — свет не отражался. Её зрачки были чёрными, абсолютно, бездонно чёрными, и в них не горел огонёк свечи. В них не отражалось ничего. Ни огня, ни стен, ни лиц тех, кто стоял рядом. Глаза Сиринити были не глазами, а провалами. Дырами в том, что должно было отражать мир.

Даффи попятился. Его спина упёрлась в дверь, и он прижался к ней, как к единственному, что ещё было настоящим. Оптима поднял свечу выше, и пламя послушно вытянулось к потолку — но в глазах Сиринити не мелькнуло ни искры.

— Она не отражает, — прошептала Прима. Не спросила. Констатировала, как констатируют приговор. Её звериное чутьё молчало. Оно молчало потому, что перед ним не было ни лжи, ни правды. Перед ним было нечто, для чего у чутья не было названия.

Окси медленно повернулась к Сиринити и спросила то, что никто не решался спросить: — Что ты такое?

Сиринити не ответила. Она стояла в центре подвала, между картой и остальными, и тёмная жидкость на бумаге перестала течь. Замерла. Будто и она ждала.

А потом часы в башне над ними, те самые, остановившиеся на без четверти полночь, пробили. Один раз. Тихо, глухо, не колоколом, а чем-то внутренним, спрятанным в механизме, что-то щёлкнуло, и Сиринити сделала вдох.

Первый слышимый вдох за всё время.

И все поняли: она дышала не потому, что ей нужен воздух. Она дышала, потому что что-то внутри неё завелось. Как заводят часы.

Глава 5. Молчание как язык

Прима начала записывать не из любопытства. Она начала, потому что не умела по-другому.

Звериное чутьё — штука ненадёжная, когда перед тобой существо, которое не лжёт и не говорит правду, потому что оно вообще не из тех категорий, к которым применимы слова «ложь» и «правда». Прима привыкла доверять носу и коже. Но Сиринити пахла ничем. Кожа Примы молчала рядом с ней. И тогда девочка с двумя косами сделала то, что делала всегда, когда слова и чувства подводили: взяла уголь и обрывок пергамента и стала записывать.

Каждый жест. Каждый поворот головы. Каждый шаг.

Сначала запись выглядела хаосом — россыпь стрелок и закорюк на полях. Но к третьему часу наблюдения Прима замерла, перо зависло над бумагой, и по её спине пробежал холодок, какого она не испытывала даже в ту ночь, когда куранты пробили тринадцать.

Шаг — пауза — шаг — шаг — пауза.

Шаг — пауза — шаг — шаг — пауза.

Сиринити двигалась по подвалу, и её движение имело ритм. Не человеческий, не звериный, не птичий. Механический. Точный, как метроном, как балансир в часах, как маятник, отмеряющий секунды с безжалостной равномерностью. Она останавливалась там, где останавливалась, шла туда, куда шла, и между её движениями лежали паузы длительностью ровно в три удара сердца. Прима считала. Считала и записывала, и пальцы её дрожали всё сильнее с каждой строкой.

— Она тикает, — сказала Прима вслух, и собственный голос показался ей чужим.

Оптимист поднял голову от карты, которую всё ещё изучал, хмурясь.

— Что?

— Сиринити. Она тикает. Не слышно — но она тикает. Шаг, пауза, шаг, шаг, пауза. Как часы. Как механизм, у которого есть свой ход.

Оптимист не поверил. Это было написано на его лице крупными буквами: мужик с топором, привыкший к лесу и прямым ответам, не верил в то, что девочка нашла закономерность в хаотичных движениях молчаливой спутницы. Он сплюнул, отвернулся к стене, провёл ладонью по камню.

— Мало ли как она ходит. Может, у неё привычка. Может, она так...

— Тикает, — повторила Прима. — Оптимист. Она ходит по ритму, которому триста лет. Я знаю, потому что слышала этот ритм. Дед Архон рассказывал про старые часы, до курантов, до башни. Балансирные. Шаг, пауза, шаг, шаг, пауза. Так ходят часы, которые сделаны не для людей. Для чего-то другого.

Оптимист замолчал. Даффи, сидевший в углу, обхватив колени руками, побледнел и забыл про еду — впервые с тех пор, как они спустились в подвал.

Но самое страшное было не это. Самое страшное — Фаргус молчал.

Фаргус, который всегда говорил. Который объяснял, пояснял, смягчал, переводил с непонятного на чуть менее непонятное. Фаргус, чей тихий голос был единственным, что стояло между ними и полной тишины, — молчал. Он стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел на Сиринити, которая ходила по кругу, и на его лице не было ни удивления, ни страха. Было узнавание. Будто он смотрел на что-то, что давно знал, и ждал, когда остальные догонят.

Окси подошла к Приме и села рядом, вглядываясь в записи. Она не умела читать так, как Прима, — не видела ритмов, не слышала тиканья. Но она умела видеть линии, направления, формы. И когда Прима разложила все обрывки пергамента на столе, когда стрелки и закорючки, нанесённые углём, легли рядом, Окси первой поняла, что это не просто узор.

— Это карта, — сказала она. — Прима, посмотри. Если соединить точки, где она останавливалась дольше всего...

Прима посмотрела. И увидела.

Траектория Сиринити по подвалу складывалась в цифры. Не слова, не рисунки — координаты. Два числа, точные, как если бы их вырезали на камне. Точка в пустошах, к северо-востоку от Эннмаута, куда вела дорога, заброшенная так давно, что о ней помнили только по названиям на старых картах Архона.

Все столпились над столом. Даффи навалился сзади, опираясь на плечи товарищей. Оптимист хмурился, водя пальцем по цифрам, сверяя с картой города на стене. Окси молча указала направление — на северо-восток, туда, где пустоши становились глуше, где трава сменялась серой пылью, где даже ветер не хотел бывать.

Фаргус подошёл последним. Наклонился над записями. Прочитал координаты. И замер.

Потом поднял голову и сказал — тихо, ровно, с той тяжестью, с какой говорят вещи, которые знаешь слишком давно:

— Там был храм. Его снесли до фундамента. Но фундамент остался.

— Откуда ты знаешь? — спросил Оптимист.

— Потому что я там умер, — ответил Фаргус. И в его голосе не было ни горечи, ни жалости к себе. Только констатация. Факт. Дата на могильном камне.

Тень Примы дёрнулась, как от удара. Даффи опустился на пол, сел, обхватил голову руками. Окси отвернулась к стене и ударила по ней кулаком — тихо, сдержанно, но костяшки побелели.

А Сиринити остановилась. Впервые за три часа она прервала свой ритм — шаг, пауза, шаг, шаг, пауза — и замерла посреди подвала, повернув голову к столу с записями. Она смотрела на координаты, которые сама вывела своим молчанием, и в её чёрных, не отражающих глазах мелькнуло что-то, чего никто не ожидал.

Удовлетворение.

Не радость. Не облегчение. Механическое, точное удовлетворение механизма, который выполнил свою функцию. Как будто шестерёнка встала на место. Как будто завод пружины дошёл до нужной отметки. Как будто кто-то, кто её создал, наконец получил то, ради чего её вложил в этот мир.

И часы в башне над ними щёлкнули. Дважды.

Шаг — пауза — шаг.

Она тикала. И теперь это слышали все.

Глава 6. Вторая ночь

Сорок восемь часов без солнца. Город начал сходиться с ума — тихо, постепенно, как дом, в котором гниёт балка: снаружи ещё стены, а внутри уже проседает пол.

Старуха Нинель с торговой площади клялась, что в тумане за оградой видела лица — не маски, не тени, а именно лица, с чертами, с выражением, и одно из них улыбалось ей, как старый знакомый. Кузнец Грейв заорал на всю улицу, что слышит детские шаги на крыше — лёгкие, быстрый-быстрый-быстрый, а потом тишина, а потом снова. Он стоял посреди мостовой с молотом в руках и кричал в небо, пока жена не утащила его внутрь. Двое стражников у восточных ворот ушли в туман, проверяя периметр. Вернулся один. Не помнил, как шёл, не помнил, где второй. Просто очнулся у ворот, стоял и смотрел на белую стену, как человек, потерявший нить разговора на полуслове.

Оптимист собрал всех в таверне, забил ставни, вставил лучину в щель и сказал коротко:

— Уходим. На рассвете.

Рассвета не было. Он сказал это, и слово «рассвет» прозвучало как название страны, в которую никто не может попасть, потому что её больше нет на карте. Они вышли через час — когда тьма наверху стала такой плотной, что фонари уже не пробивали её дальше двух шагов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.